подлинная история, случившаяся в 1762 году на святках в Санкт-Петербурге, рассказанная отставным майором Тимофеем Андрияновичем Павловым и записанная внучатым племенником его надворным советником Сергеем Валентиновичем Юдиным в 1804 г. в г. Москве.
/ Печатается по изданию С.П. Хитрово 1908 г. с некоторыми сокращениями/

<...>

Зимою 1761 года завершилась служба моя при корпусе генерал-майора графа Тотлебена, с коим довелось мне побывать во многих славных для нас баталиях в землях Прусских, присутствовать при капитуляции и занятии войсками русскими ихнего столичного города Берлина и других менее знаменитых городков и местечек немецких.

Случилось же сие через то, что в первых числах генваря оного года скончалась блаженной памяти Государыня Императрица Елисавета Петровна, оставив государство племеннику своему Великому князю Петру Фёдоровичу, коий и взошёл тотчас на российский престол под именем Петра III-го.

Говорят, едва ли не в самую ночь смерти Государыни новый Император разослал гонцов в различные корпуса армии русской с приказом прекратить неприятельские действия. Все наши войска, занимавшие Восточную Пруссию, обязаны были приостановить своё наступательное движение, те же, что стояли вместе с цесарской армией, немедленно отделиться от нея. Кроме того, и тем и другим было отдано повеление сейчас же соглашаться на все условия перемирия, каковые будут предложены генералами прусскими.

Сие было тем более досадно, что к оному времени, после наших побед при Грос-Егерсдорфе и Кунесдорфе, а особливо после недавнего взятия считавшегося дотоле неприступным Кольберга, всего несколько лишних месяцев, будь они дадены для совокупных действий союзных русских, цесарских и французских войск, неминуемо повлекли бы верную гибель Фридриха II-го. Ноне же он справедливо мог почитать себя спасённым смертию Государыни Елисаветы.

Видя таковые дела, принялся я тотчас же хлопотать при медиации свойственника моего генерал-лейтенанта Пурчура пред Военной коллегией о переводе на какую-нибудь должность в Петербурге. И хлопоты сии очень скоро окончились для меня весьма благополучно, ибо из коллегии пришёл приказ о назначении меня флигель-адъютантом при особе тогдашнего генерал-фельдцехмейстера Александра Никитича Вильбуа, у коего оный Пурчур в ближайших помощниках состоял и потому-то мне таковую успешную протекцию оказать сумел.

Между тем, чуть ранее того успел я испросить и добиться у полкового начальства разрешения отбыть в отпуск, для того, что, собирался, будучи уже тридцати двух годов от роду, вступить в законный брак с девицею Татьяной Степановной Неверовой.

Невесту свою я дотоле ни разу ещё не видывал, но знал только по описаниям матушки моей Серафимы Густавовны, которая в недавних письмах своих и объявила мне таковую последнюю волю покойного отца моего Андрияна Фёдоровича Павлова, скончавшегося в августе месяце.

Родитель оной девицы – Степан Алексеевич Неверов (умерший едва ли ни в год появления на свет дочери своей) – так же как и отец мой, был из тверских помещиков и оставил ей в наследство восемьдесят душ и пустошь, именуемую Павловской и почти примыкающую к землям нашего родового имения Ногино. Это-то даваемое за ней приданое более всего и соблазняло покойного Андрияна Федоровича, ибо явилось бы существенным добавком к имевшимся у нас с небольшим сорока душам и несколько округлило бы владения наши. С матерью её, Акулиною Прокофьевной, обо всём уже было сговорено, и дело оставалось за малым – моим приездом и свадьбою.

Так-то, прежде нежели явиться к новому месту службы, поехал я в своё Ногино, куда и прибыл через положенное время. Отдохнув только дней восемь, отправился я вместе с матушкой свататься к будущей невесте, в Москву, где Неверовы,

имея собственный дом на Никольской улице близ Синодальной типографии, каждую зиму и проживали, на лето уезжая в имение Выпуково под Калугою (Акулина Прокофьевна, урожденная Дубинина, была из калужских дворян и владела там тремя деревеньками и довольно изрядным числом душ).

<...>

Невеста мне сразу очень приглянулась, хотя и была она двадцати пяти годов от роду, так что по тем временам считалась уже перестарком, но приятная наружность её, весёлый и открытый нрав, стройность и гибкость стана, особливо же выказываемые ею в беседе ум и даже некоторая образованность, не могли не привлекать меня, да и, сказать по правде, тотчас покорили моё сердце.

К несчастию, не мог я того же сказать и о матери её, которая показалась мне старухою глупой и надменной. Собою она была толста и приземиста, лицом убога, так что я порою недоумевал, как эдакое чудище могло произвести на свет столь нежное и воздушное на вид создание.

Манеры Акулина Прокофьевна имела самые дурные, разумом (как уже сказано) не только не блистала, но иной раз при разговоре неможно было понять, о чём она говорит и не бредит ли. Голос у неё был очень громкий, скаросый, и имелось в нём нечто такое особенно неприятное, что можно его было не только слышать издалека, но и отличать от всех прочих голосов.

Всё сие было, конечно, до некоторой степени огорчительно, но я утешал себя мыслию, что век-то коротать мне придётся не с нею, а с дочерью ея.

Долго ли, коротко ли, но, поживя некоторое время в первопрестольной нашей столице, сговорились мы обо всём: и о приданом, и о подарках, и о других необходимых в таковых случаях мелочах. Получивши же наконец окончательное согласие невесты и благословение матери ея, воротились мы в имение, где и стали делать все приуготовления к свадьбе и поджидать скорого прибытия будущей супруги моей.

Много, недели через три приехала она в дом мой вместе с матерью, двумя дядьями, дедом – Прокофием Антипатровичем Дубининым и в сопровождении ажно восьми дворовых девок. Едва дождался я, покуда закончится Петров пост, да в тот же день, на Петра и Павла, нас и повенчали в приходской церкви.

Венчание прошло весьма благолепно и торжественно. Священный обряд был совершён престарелым отцом Василием со всею важностью и степенностью, оному приличествующей, дабы я с Татьяной Степановной воистину почувствовали себя связанными неразрывными узами брака. Только пономарь наш (прозванный, к слову сказать, “Помелом” за присущую ему способность необыкновенно скоро отжаривать ектинью, так что заместо возглашений “Господи, помилуй”, на весь храм раздавалось обыкновенно “помело-с, помело-с!”), по неосторожности или будучи в весёлом расположении духа, подпалил свечою кудлатую бороду отца Василия, отчего гости имели удовольствие обонять аромат жжёного волоса и слышать жалобное щёлканье несчастных, заживо сгораемых насекомых, в обилии населявших власы почтенного старца. Впрочем, досадный казус сей был всеми истолкован, как предзнаменование вполне благоприятное и даже счастливое.

Пропуская описание пиршества свадебного, ибо мало чем оное отличалось и от теперешних деревенских свадебных застолий, скажу только, что вышло всё не пышно и не убого, а так, что лучше я и желать не мог.

<...>

Как время моего отпуска истекало, и надобно мне было уже сбираться в дорогу, сговорились мы с женою, что я поначалу поеду в Петербург один, дабы приискать приличное жилище и служебные дела свои уладить; тем паче, что по дороге хотел я ещё завернуть во Псков, имея намерение поблагодарить за все услуги генерала Пурчура, коий в это самое время там по государевой надобности находился. Она же, проведя последние седмицы осени, а равно весь Рождественский пост и святки в деревне, соединится со мной не ранее Крещенского сочельника.

Привезти её намеревалась сама Акулина Прокофьевна, которая очень желала отпраздновать Богоявление в Петербурге и обещалась, пожив с нами не более месяца, отбыть уж сразу из столицы в калужское своё имение.

В путь пришлось мне отправиться по самой что ни на есть распутице, так что не раз пожалел я, что в коляске поехал, а не в санях.

<...>

Наконец, утром в день Покрова Пресвятой Богородицы подъехал я к столице нашей, в коей до того времени и бывать мне не приходилось. Едва лишь приблизившись к Петербургу, был я весьма поражён и восхищён открывшимся мне видом: в лучах восходящего светила ярко блистали золотые спицы высоких башен и колоколен, а особливо выделялся видимый издалека и превозвышающий кровли всех прочих домов верхний этаж нового дворца Зимнего (который тогда только что отделывался), уставленный множеством статуй, всевозможные кумиры языческие изображающих.

Первым делом по приезду в город отправился я с визитом к генералу моему, дабы не быть как-нибудь обвинённым или заподозренным в контумации и пренебрежении к обязанностям своим. Будучи принят с довольным решпектом и даже весьма обласкан Александром Никитичем, озадачился я вторым делом приисканием приличной квартиры, в коей не только я, но и ожидаемое семейство поместиться могло.

Как я довольно мало был озабочен предстоящей службой и не ожидал от неё особливых хлопот, то и квартиру велел высматривать не вблизи от генерал-фельдцехмейстерова дома, что на самом берегу Мойки близ старого дворца находился, а где-нибудь подалее. Таковая вскоре и нашлась в доме княгини Долгоруковой в Миллионной улице. Это был большой поземельный деревянный дом постройки довольно нелепой, ибо весь состоял из неуютных проходных комнат, обставленных ветхой разномастной мебелью. Сами комнаты были с низкими потолками, парадные – расписанные какими-то невиданными фантастическими цветами, птицами, фруктами расцветок самых ядовитейших. Помимо того, к дому примыкало множество позднейших пристроек и флигельков, коие все вместе образовывали некий таинственный лабиринт, с тёмными коридорами и тупиками, лесенками, разными закоулками с лежанками, со спящими на них жирными котами и шныряющими под ними не менее жирными мышами. Однако ж один из таковых флигельков, видимо, совсем недавно пристроенный, мне довольно приглянулся. Был он достаточно поместителен и состоял из четырёх комнаток с большими окнами, потолками, подбитыми холстиною и выбеленными, и стенами со светлыми штофными обоями. Наибольший из сих покойцев составлял род гостиной или передней, был освещён тремя порядочными окнами, одно из коих выходило во двор перед домом, а два – в небольшой садик, что располагался на задах строения. Второй покоец с двумя окнами вполне годился для подклети (или, как немцы говорят – браутенкамеры), и в нём решил я обустроить нашу с женою супружескую спальню. Третий же и четвертый представляли собой разгороженные стеною на две неравные комнатки сени, меньшую из которых я решил отвести под спальню тёщи, а ту, что поболее, – под лакейскую.

Таковым образом обустроившись и более всего довольным оставшись крайне умеренной ценой, запрошенной хозяевами за квартиру, начал я жизнь свою в Петербурге.

Как генерал Вильбуа действительно мало нуждался в новом флигель-адъютанте, ибо таковых молодцов у него уже было четверо, которые сами порой от безделия томились, то служба моя и взаправду оказалась весьма необременительной.

Однако ж первое время, более по своему хотению и из любопытства, нежели по необходимости, я довольно часто сопровождал генерала при его визитах ко двору, куда он езживал почти ежедневно. Куртаги придворные были для меня зрелищем новым и никогда дотоле не виданным. Тут-то я наконец и увидал всех первейших тогдашних вельмож наших и самого Государя Петра Федоровича и Государыню (будущую великую Екатерину). Впрочем, Императрица Екатерина Алексеевна весьма редко покидала свои комнаты и в обществе супруга своего бывала. Зато неизменно при нём можно было лицезреть тогдашнюю фаворитку Елисавету Романовну Воронцову.

Первый раз увидевши её близ Государя и спросив о ней бывшего с нами и почти всегда неизменно сопровождавшего генерала Вильбуа казначея артиллерийских войск Григория Орлова, я отказался было поверить, что эта-то толстенная и дурная собой, нескладная и ширококостная, с обрюзглой рожею боярыня и есть Государева любимица. Ибо более всего походила она на ожиревшую бабу-торговку, коих можно видеть на рынках, сидящих на корчагах со щами с целью удержать теплоту в них. Но раньше всего поразило меня удивительное сходство оной с тёщею моей: хотя Елисавета Воронцова и была много моложе, но чертами лица и всей непомерной

корпулентностью своей и приземистостью, а равно и повадками, очень напоминала мне дражайшую Акулину Прокофьевну.

Надобно отметить, что двор тогда находился в старом дворце, что был построен на берегу Мойки, подле самого Полицейского моста, на том месте, где воздвигнуто ныне здание Дворянского клуба. То был не весьма высокий, но довольно просторный деревянный дом со многими флигелями, коий служил для пребывания императорской фамилии, покуда ещё не был отделан новый Зимний дворец на берегу Невы, подле Адмиралтейства.

Туда-то и езживал я с генералом на даваемые ежедневно Государем большие обеды. Но вскоре таковое времяпрепровождение изрядно мне надоело, ибо зрелище это бывало зачастую весьма досадно и ни с чем не сообразно. Император любил, чтобы общество за столом его было как можно более многолюдное и пёстрое, почему в обедах этих участвовали не только певицы и танцовщицы его оперы, но нередко и целая толпа простых женщин из самого подлого народа, которых прихватывали с собой офицеры его голштинского войска. Кроме того, был он великий охотник до курения табаку, и, чтобы угодить ему, надлежало и всем бывшим с ним закурить и не выпускать трубку изо рта в течение нескольких часов, так что иной раз не успеют еще отзвучать первые тосты и здравицы, как уж лакеи тащат целую корзину голландских глиняных трубок и множество картузов с кнастером и другими табаками, и вмиг вся зала наполняется густейшим дымом и скверным табачным запахом, а Государю то и любо. Нечасто возможно было увидать его и трезвым и в полном разуме, а всего больше уже до обеда, чуть проснувшись, опоражнивал он с десяток бутылок аглицкого пива, до которого был превеликий охотник, да и за обедом рюмки и бокалы, натурально, не гуляли. Напротив, звенели столь прилежно, что многие и из сановников даже важнейших доводили себя продуктами бахусовыми до такого оглумления, что выйти из-за стола и сесть в линею и сил не имели, а гренадеры уже выносили их туда на руках своих.

Наконец, утомившись окончательно присутствием на сих оргиях, упросил я генерала более меня с собой не брать, что тем легче оказалось, как и сам начальник мой всё чаще стал манкировать под разными предлогами своими посещениями двора Государева, а нередко теперь уже видывали его на половине Императрицы.

Около сего времени не только среди знати, но и в простом народе ропот на Государя усиливаться начал, ибо ежели знатные были крайне недовольны заключенным с пруссаками перемирием и негодовали на слепую приверженность его к Фридриху, то простолюдины не могли не видеть явную ненависть Помазанника к православию и вообще ко всему русскому.

Повсеместно уже многие отваживались публично даже судить и рядить все поступки и дела Государевы и сожалеть о горькой участи Государыни Императрицы, ибо слышны были неведомо откуда взявшиеся слухи о том, что супруг де едва ли не готов оную постричь в монахини, а наследника своего Павла Петровича объявить незаконнорожденным и от престола отринуть.

Так-то и всё общество петербургское оказалось расколотым на две партии, одна их которых, состоящая преимущественно из иностранцев и особливо голштинцев, вождём своим числила дядю Императора – принца Георга Голштинского (оный к тому времени был назначен главнокомандующим всей русской армии и поставлен во главе конной гвардии, до того не знавшей другого командира, кроме самого Государя) и привержена естественным образом была к особе Императора; вторая же, хотя и не имевшая какого-то единого вождя, но значительно более многочисленная, почитала, что засилие иностранное преодолеть можно лишь посадив на престол Великого князя Павла Петровича (о возможности воцарения Государыни Екатерины Алексеевны никто ещё тогда говорить открыто и не осмеливался).

Вот с оными-то последними и познакомил меня упомянутый гвардии поручик и казначей артиллерии Григорий Григорьевич Орлов (будущий князь и первейший вельможа наш). Он ввёл меня в дом к князю Алексею Александровичу Вяземскому, где едва не каждый вечер собирались молодые офицеры Семёновского, Преображенского, Измайловского и Конно-гвардейского полков и все вместе говаривали и рассуждали о всех тогдашних обстоятельствах и огорчениях. Приставши к этой компании, более всего сдружился я с

двумя братьями Олсуфьевыми – Иваном и Петром, первый из которых служил в Измайловском, а второй – в Преображенском полку, а также с капитан-поручиком Преображенского же полка Андреяном Капышкиным.

Строго говоря, главнейшими различиями голштинской и русской партий были те, что приверженцы первой по примеру и в подражание Государю предпочитали пить аглицкое пиво и пунш, а в картах, вместо обычного у нас фараона, играли в любимую Императором “campi” – особую игру в роде “chatquidort” или “asquicourt”; мы же в компании пили водку, да и за ломберным столом традиций придерживались.

<…>

Князь Вяземский владел довольно поместительным домом на Сенной близ церкви Спаса; первый этаж оного был каменный и там размещались всеразличные службы, а второй – деревянный и жилой. Там-то и проходили наши ежевечерние собрания. Бывало, чуть смеркаться начинает, как и подтягивается народец один за другим, а у князя уж и стол готов. Хотя в ту пору он лет тридцати пяти был, но женою не обзавёлся и проживал один с немногочисленной челядью, зато поваров держал отменных. Среди оных вяще всего славились двое: француз Трамбле и Михайло Кукин из его дворовых людей. Француз обыкновенно готовил сладкие кушания и соусы, а уж Кукин на закуски был особенный мастер: блины у него знатные получались и с икрою, и с сёмгою, и с балыком, а уж что за стерляжью уху с подовыми пирожками он делал, так это я вам и передать не могу.

Насытившись, вся компания, натурально, садилась за карты. Играли обычно не по крупному, однако бывало, что к утру счёт уже и на сотни шёл. И хотя до сей поры я и небольшой охотник картёжный был, но тут открылось, что фортуна в этом деле особенно для меня благоприятна, так что редкое утро я без выигрыша в кармане домой ворочался.

Вот в таковом-то приятном времяпрепровождении и приближался для меня светлый праздник Христова Рождества, вскоре после коего ожидал я прибытия молодой жены своей и любезной тёщи.

Надобно отметить, что по первоначалу оные сборища наши сугубо мужской и холостяцкий характер имели, но вскорости стали на них появляться и дамы. Первыми отметились приятели мои Олсуфьевы и Капышкин. Как-то испросивши на то согласие князя, привели они все трое своих конкубин из петербургских мещаночек, с коими дотоле лишь по собственным холостяцким квартирам одиночество коротали. Ну, а дальше – больше: Григорий Орлов и бывший тут же брат его Алексей, что ни вечер – с новыми пассиями являться принялись, а за ними и другие гвардейцы тушеваться не стали, так что с той поры уж у нас иное веселье пошло: то и глядишь, что после ужина заместо того, чтобы к столам ломберным поспешать, некоторые парочки стремятся уединиться в разных закоулках, дабы время ещё с большей приятностью провести.

Князь, который сам же первый своим попустительством и дозволил эдакую вольность, был поначалу не весьма доволен характером, коий приняли дружеские застолья наши. Однако ж братьям Орловым удалось убедить его, будто таковым образом мы отведём от себя всякие подозрения со стороны двора и правительства, и догляд де за нами прекращён будет.

Между тем Государю и окружавшим его немчинам и так не до такового догляду было, ибо и самый двор пребывал в непрерывном загуле, так что сложнёхонько было отыскать в ту пору среди правителей наших хотя бы две пары голов трезвых.

<…>

Наконец до Святого праздника осталось уж не более дня, и тут в вечеру Рождественского сочельника попутал меня нечистый разгласить предстоящий приезд супруги среди приятелей моих. Тотчас же все оные принялись кто во что горазд бранить меня и смеяться. Более же всех старался Андреян Капышкин: “Ба, ба, ба! Что ж ты такой-эдакой до сей поры время-то терял, да ни разу последними деньками свободы своей не попользовался! Мы-то тут почти все ещё неохомутанные и от уз Гименея свободные, да и то не плоховали; ты же, точно чернец какой, женского полу сторонился”. Оба же брата Олсуфьевы порешили, что как я опять в оный вечер к князю один явился, то надобно непременно везти меня к девкам и там уж веселие продолжить. Не зная, смеяться мне или плакать над предложениями эдакими,

напомнил я товарищам своим о том, что ноне строгий пост, в каковой честному христианину прелюбодеянию предаваться совсем уж негоже, да ежели бы и поста не было, всё одно мне, как человеку женатому, к девкам бегать непотребно. На это Капышкин пуще прежнего засмеялся: “Что ж, что пост? Водку-то ты, эвон, пьёшь и не морщишься, да и ко Всенощной не больно-то поспешаешь, а естественнейшие потребности человеческие за грех держишь! Да и что, скажи, за важность, что ты женат? Разве ты не можешь отобедать в ресторации, потому только, что у тебя дома кухня имеется?”

К чести своей должен сказать, что, невзирая на все оные реприманды, остался я неколебим и искушению диавольскому не поддался. Но уж от возлияний совместных по поводу предстоящей разлуки с товарищами моими (ибо неможно же с супругою живя, все-то ночи вне дома проводить) уклониться никакого способу мне не представилось. И так-то усердно и сам хозяин, и гости его меня потчевали, что в скором времени упился я, что называется, до положения риз.

Плохо помню, как уж ночью усадили меня Иван да Пётр Олсуфьевы в свои сани и, до самой квартиры довезя, под руки, с трудом ногами передвигающего, в оную завели.

С грехом пополам добравшись до лакейской, дабы растолкать слуг, попытался я кого-либо из людишек своих отыскать. Но сколько ни тыкался в кромешной тьме по углам, сколько ни звал их, вопя уж благим матом, никого живого ни найти, ни добудиться не сумел. Тогда, не зная, где добыть огня и не имея и сил добраться до комнат своих, вознамерился я лечь тут же в лакейской, на диванчике, но и в этом постигла меня неудача, ибо все я натыкался на какие-то сундуки и шкафы, ничего же мягкого и похожего на постель обнаружить не мог. Делать нечего, и, помянув недобрым словом чрезмерное княжеское хлебосольство, стащил я с себя сапоги и порты, постелил на пол кафтан свой и, прилегши на него, тут же и заснул, словно в яму какую провалился.

Первоначально спал я безо всяких сновидений, словно чурбан бесчувственный, однако через какое-то время стало мне грезиться, будто стою я в некоем большом храме, по великолепию, отделке и множеству изваяний более на языческое капище, нежели на церковь христианскую походящем. Клиросы сего храма были затянуты некоей узорной пеленою, легчайшей дымке подобной, и ангельское пение слышалось из-за сей пелены, сладкозвучное и гармоническое, в самую душу проникающее. Тут-то за все грехи мои стало глодать меня раскаяние и, придя в умилённое состояние духа, принялся я, проливая слёзы и в грудь себя бия, страстно взывать к Творцу о спасении: “Господи и Владыко живота моего, избави мя от духа праздности, уныния и прелюбодеяния всякого, но даруй рабу Твоему дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве! Ибо бездна последняя грехов обыде мя, и яко Иона вопию Ти, Владыце: от тления изведи мя!” Сразу за таковой молитвой моей, откуда-то сверху, из расписанного облаками и звёздами свода сами собой появились большие серебряные трубы, в коих нельзя было не признать те, что долженствуют о приближении Страшного суда возвещать, и разлился по всей храмине рёв столькой силы и громкости, что я тут же и проснулся. А проснувшись и продрав глаза, обнаружил, что наступило уже утро, в дверях же лакейской, заслоняя проём весь, стоит тёща моя Акулина Прокофьевна и широко раскрытым ртом издаёт тот громогласный вопль, что принял я во сне за трубный глас Страшного суда. Из-за тёщиной спины выглядывала юная супруга моя, Татьяна Степановна, и непонятный мне ужас плескался в глазах ея.

Весьма озадаченный таковым явлением, попытался приподняться я с полу, где, натурально, так и лежал на собственном кафтане. Увидав моё пробуждение, Акулина Прокофьевна перестала уподобляться инструменту гнева Божьего, но зато разразилась потоком слов бранных, нежнейшими из которых были: прелюбодей, сосуд смердящий, изверг рода человечьего и блудник Вавилонский. Добрая же жена моя, напротив, не говоря ни слова, огласила дом плачем и рыданиями.

Совершенно уже сбитый с толку бурными проявлениями чувств обеих дам, и никак не возьмя в голову, что же могло их вызвать (уж, наверное, не то, что увидели они меня не вполне одетым и на полу отдыхающим), вскочил я на ноги и хотел было броситься к ним. Однако стоило мне сделать первый шаг к двери, как тёща словно в ужасе выкатила буркалы свои и, схвативши за руку дочь, кинулась вон, точно за нею целая стая чертей поспешала.

Чуть помедлив от изумления, я, поскорее натянув порты и сапоги, последовал за ними, но успел только увидеть, как обе они садятся в стоявший у крыльца возок, что визгливо скрипя полозьями стремительно укатывает прочь. Лишь напоследок, выглянув из окошка своего рыдвана, старая карга погрозила мне кулачищем и гаркнула: “Так оставайся же, срамник, со шлюхою своею! Доченьку же мою не видать тебе уж вовек!”

Не зная, что и думать обо всей этой кутерьме, побрёл я в некоторой прострации обратно в дом и, вернувшись в лакейскую, тотчас узрел и осознал несчастную причину случившегося: кафтан мой валялся на полу комнаты подле самого дивана, коий ночью я столь упорно искал; на самом же диване, в соблазнительной позиции, с едва прикрытыми одеялом ногами и, напротив, стыдливо укутанной какою-то тряпицею головой, возлежала обнажённая дева, являя взорам и белоснежную грудь и самое лоно своё!

В сознании моем вихрем промелькнули все события ночи прошедшей, и вмиг понял я, что коварные друзья, воспользовавшись опьянением и беспамятством моим, решили потешиться над выказываемой мною дотоле скромностью и целомудрием, привезя на квартиру одну из продажных красоток своих.

Однако фортуна готовила мне ещё большее испытание, ибо дотронувшись до оной девицы, ощутил я под рукою лишь смертный хлад и окоченение: на диване лежало мёртвое тело!

Тут от всего пережитого волнения и давешних возлияний неумеренных случилось со мной нечто вроде обморока: перед очами поплыли какие-то радужные круги, вся комната завертелась подобно ярмарочной карусели и сознание оставило меня.

Очнулся я от действия холодной воды, которой мне плескали в лицо, и увидал, что лежу уже в своей комнате на застеленной кровати, а надо мною хлопочут денщик Прохор и кучер Иван. Вспомнив тотчас всё дотоле случившееся и, задрожав от ужаса, вскричал я не своим голосом: “Где труп?!”

– Какой труп, батюшка? – ответствовали слуги мои хором. – Нету никакого трупа!

– Там она, в лакейской лежит, покойница! – вновь закричал я.

– Да и в лакейской никого нету! Померещилось тебе, кормилец! С пьяных глаз померещилось. Вот, возьми-тка, рассольчику испей, да и успокойся, – запричитал на это старик Прохор.

Вскочив с кровати и оттолкнув от себя бездельников, бросился я в лакейскую. И что же? В оной и взаправду никакой девки – ни мертвой, ни живой – и помину не было. Не успокоившись на том, обежал я все комнаты, заглянул во все углы, под все лежаки, топчаны и лавки, а затем, выскочив во двор, слазил даже под крыльцо, но всё тщетно: покойницы нигде не было! Тут уж я накинулся на слуг своих Ивана да Прохора и стал пытать их, выспрашивая: "Куда тело дели, изверги? Да и не ваша ли это работа? Не сами ли вы, негодяи, бабу в моё отсутствие для утех на квартиру привели? Да и не вы ли, душегубцы, до смерти её уездили, а ноне гдей-то хороните?!"

Услыхав такие слова, оба повалились мне в ноги и, обливаясь слезами, перебивая друг дружку, рассказали-таки как на духу всю правду.

Правда же оказалась столь простецкой и смеху достойной (кабы не вызванные ею печальные последствия), что долго я не мог в оную поверить, покуда не были мне явлены и самые веские доказательства.

Однако, расскажу всё по порядку.

Как и ноне водится, к торжеству Христова Рождества деланы были во всём Петербурге приуготовления великия. Но нигде так сие приметно не было, как во дворце, ибо Государю неотменно хотелось к празднику переехать в новопостроенный дворец Зимний. Посему во весь Рождественский пост кипели в оном тысячи народа, денно и нощно поспешая все внутренности отделать.

Наконец, к сочельнику дворец был уж совсем готов к переезду двора, и только большой плац перед оным оставался неочищенным и столь загромождённым, что никто не мог сообразить и додуматься, как успеть освободить его в столь короткое, оставшееся уже до праздника время.

Плац сей, лежавший перед дворцом и Адмиралтейством, простирался в один конец почти до самой Мойки, а от Миллионной – до Исаакиевской церкви. Всё его обширное пространство не было ещё тогда застроено, как ныне, многими пышными и великолепными зданиями, но загромождено премножеством хибарок, избушек, шалашей, сарайчиков и бараков, в коих жили все те мастеровые, которые строили и отделывали снаружи и внутри новый дворец. Тут же обрабатываемы были и потребные для этого материалы: граниты, мраморы и всякое дерево. Почему и запружено всё кругом было разными отходами, горами мусора, щебня, кирпича, брёвнами и прочим всяким вздором.

Вот тогда-то, увидев, что никакими силами за оставшееся время успеть убрать этот дрязг неможно, Государь и повелел тогдашнему петербургскому генерал-полицмейстеру Корфу объявить жителям через полицию, чтобы всякий, кто только хочет, шёл и брал себе безданно, беспошлинно, всё, что тут есть.

Вмиг вся столица словно взбеленилась: со всех улиц и изо всех дворов побежали и поехали целые тысячи народа, и всякий хватал и тащил, что под руку попадалось, спешил отнести или отвезти в дом свой и опять скорее воротиться. И, действительно, уже к следующему утру вся

та великая площадь была освобождена и очищена.

Я же, своевременно узнав о распоряжении том от генерала моего, и памятуя о скором приезде жены, тако же отправляясь ввечеру к князю, велел своим людям, чтобы они съездили бы ко дворцу и набрали телегу-другую дров, коих для обогрева квартиры моей надобно было, по стоявшей тогда промозглой и холодной погоде, великое множество.

Исполняя это, Иван тем же вечером запряг лошадку и со старым денщиком моим Прохором отправился за дровами.

Съездив раз и набрав полную телегу всяких обрубков, брёвнышек и досок, они снова воротились за добавкою. Тут-то и случись, что Прохор, который сызмальства до всякого художества был большой охотник (умел и короба плесть, по дереву резчик был отменный, и даже для нашей приходской церкви образа писывал), углядел под какой-то кучей щепы мраморную статую некоей богини или нимфы италийской. Кумир сей был, видать, при перевозке повреждён и от постамента отколот, почему и не сподобился украсить кровлю нового дворца, а здесь же, на площади, за ненадобностью брошен.

Углядев эдакую красоту, Прохор сейчас же часть дров из телеги повыбрасывал, а заместо них, ни без помощи Ивана, уложил оную статую. Привезя её на квартиру, они для пущей сохранности, дабы ещё больших повреждений не допустить, затащили её к себе в лакейскую и на кушетку уложили, еще и всяким попавшимся под руку тряпьём прикрыв. Сами же, памятуя о том, что я обыкновенно никогда раньше утра от князя не ворочался, пошли в трактир, попить чайку и от трудов праведных отдохнуть.

Так-то и довелось мне ночь с сочельника на Рождество провести с богинею, а вовсе не с девкою гулящей, как тёще моей примерещилось и как я сам попервоначалу думал! Сим же, конечно, объяснялось и то, что я с похмелья холодность мрамора принял за окоченение трупное.

Все бы это было ничего и сошло бы по-хорошему, кабы не довёл я себя повечеру продуктами Бахусовыми до оглумления, да не притащила бы старая ведьма дочь свою в Петербург много ранее сроку, прежде между нами уговоренного.

Закончив рассказ свой, оба моих верные слуги отвели меня к дровяному сарайчику и, разбросав часть поленьев, предъявили и саму статую, которую с перепугу там сховали, увидав меня без памяти и прознав от соседей о случившемся скандале и поспешном отъезде моего семейства.

Кипя злобою на дурь мужицкую, хотел было я сию статую всю молотком на куски раскрошить, но вовремя спохватился, что тем себе более зла причиню, нежели слугам моим досады, ибо долгонько пришлось бы мне после убеждать молодую супругу, что не с блудницею я ей изменил, но с неживою богинею.

Напротив, поразмыслив хорошенько, догадал я, как всё дело поправить и из этой заварухи с честью выйти: приказав Ивану немедля запрячь лошадей, посадил я Прохора в обнимку с богинею его в двуколку и велел скакать вдогонку за дамами моими, а, догнав, предъявить им мраморный кумир сей, да без утайки поведать, как всё дело было.

Уж за заставою, на обратной дороге в Москву, удалось моим верным автомедонтам настичь тёщин ландцуг и исполнить всё, как было велено. Умная моя Татьяна Степановна сразу всё поняла и, несмотря на сопротивление матери своей (которую убедить в очевидном было труднее, нежели заставить поверить нелепицам сущим), понудила её воротиться назад. Тем дело и кончилось.

Вот и вся приключившаяся со мной на Рождество 1762 года история. Добавлю лишь, что не успели ещё окончиться святки и отшуметь неизбежные в сие время балы, празднества и гуляния народные, как Император подписал мирный договор с Пруссией и, паче того, заключил с любезным его сердцу Фридрихом оборонительный и наступательный союз супротив всех прочих держав.

Я же, добившись в Военной коллегии абшида, с лёгкой душой покинул службу Государеву и, сделавшись свободным и вольным навсегда человеком, увёз жену в родовое своё в Тверскую губернию. Тёщу же Акулину Прокофьевну с этих пор я более не видал ни разу, чему и рад бесконечно.

Что же касается статуи, то оная и до сей поры у нас с женою хранится, ибо велел я Прохору приладить к ней постамент и, в поминание рассказанного мною происшествия, установить в саду возле усадьбы нашей Ногино. Между прочим, выяснилось, что ваял её известный художник французский Ролянд по образцу кумира Венеры, что в Ватикане у первосвященника Римского хранится.